

М.М. Пришвин и Б.А. Пильняк: к истории творческих взаимоотношений

Рассмотрена история творческих и личных взаимоотношений М. Пришвина и Б. Пильняка с 1922 г. до начала 1930-х гг. на основе эпистолярия и дневниковых записей. При устойчивых, во многом приятельских отношениях двух писателей характер их был осложнен весьма критическим отношением Пришвина к собрату по перу, выраженным в резких оценках некоторых произведений Пильняка. С другой стороны, отмечается, что Пришвин ценил художественный талант Пильняка как мастера ярких очерковых образов. Отдельно рассмотрена дискуссия с привлечением к ней А.К. Воронского и Л.Д. Троцкого по поводу сравнительного анализа романа Пильняка «Голый год» и повести Пришвина «Мирская чаша», написанных по свежим следам революции. Парадоксальность пришивинской отрицательной позиции в отношении романа Пильняка усматривается автором в очевидной жанрово-стилистической общности обоих произведений, отмеченных чертами экспрессионизма и «орнаментальной прозы». Предпринята попытка объяснить причины устойчивости отношений двух писателей на протяжении многих лет через определенную общность их мировоззренческих позиций в аспекте исторической судьбы России, сделавшей их в чем-то союзниками в непростой идеологической борьбе 1920–30-х гг., которой был отмечен литературный процесс в СССР.

Ключевые слова: М.М. Пришвин, писательские дневники, эпистолярный, Б.А. Пильняк, русская советская литература, экспрессионизм, русская проза 1920-х гг.

The article considers the history of creative and personal relationships of M. Prishvin and B. Pilnyak from 1922 to the beginning of the 1930s, basing on epistolary and diary entries. In the presence of stable, largely friendly relations between the two writers, their character was complicated by Prishvin's very critical attitude towards his fellow writer, expressed in a number of sharp assessments of some of Pilnyak's works. On the other hand, it is noted that Prishvin appreciates the artistic talent of Pilnyak as a master of vivid sketchy images. The discussion on the comparative analysis of Pilnyak's novel "The Naked Year" written on fresh traces of the revolution and Prishvin's novel "The World Cup" with the involvement of A.K. Voronsky and L.D. Trotsky was separately considered. The author of the article sees some sort of paradox in the Prishvins' negative position regarding Pilniak's novel in the obvious genre-stylistic commonality of both works, marked by traits of expressionism and "ornamental prose". The article also attempts to explain the reasons for the stability of relations between the two writers over the years through a certain commonality of their views in terms of the historical fate of Russia, which made them, by and large, allies in the difficult ideological struggle of the 1920s and 30s.

Keywords: Michail Prishvin, Boris Pilnyak, Russian Soviet literature, expressionism, Russian prose of the 1920s, epistolary, diary.

Более-менее полное раскрытие темы творческих и личных взаимоотношений Михаила Пришвина и Бориса Пильняка стало возможным после завершения научного комментированного издания дневника Пришвина в 18 томах, выполненного Л.А. Рязановой и Я.З. Гришиной и их помощниками, а также двухтомного издания писем Пильняка, осуществленного К.Б. Андроникашвили-Пильняка [12]. Кроме того, в настоящей статье использованы материалы архивов писателей, хранящиеся в РГАЛИ.

С литературоведческой точки зрения заявленная тема представляется благодатной, поскольку не требует особых «натяжек», встречающихся иногда в сравнительных исследованиях: в данном случае обоих писателей связывали личные отношения, поддерживаемые как непосредственными встречами, так и перепиской, что дает возможность узнать об их отношении к творчеству друг друга.

Исходя из сохранившихся свидетельств очевидно, что эти контакты завязались в 1922 г., когда оба наездами бывали в Москве. 10 апреля 1922 г. в письме А.М. Ремизову в Берлин Пильняк упоминает о посещении Всероссийского союза писателей, где он присутствовал на чтении Пришвиным рассказа «Хабар-бар» [12. С. 421], 25 апреля 1922 г. Пильняк пишет в Берлин сразу двум адресатам — Александру Степановичу Яценко и Ивану Сергеевичу

Соколову-Микитову: «Встретился я случайно в Москве с Пришвиным; горячий тебе привет, Сергеич» [12. С. 432].

Завершенный в то время роман Пильняка «Голый год» Пришвин читает еще до выхода печатного издания, в рукописи, в августе 1922 г., предоставив, в свою очередь, Пильняку рукопись повести «Раб обезьяний», известной на сегодняшний день как «Мирская чаша», что свидетельствует об устойчивых к тому времени отношениях между писателями. Однако предложенная тема работы осложняется неровностью и сложностью этих отношений, поскольку писательский образ Пильняка вызывал у Пришвина немало негативных эмоций, притом что в художественном отношении он никоим образом не считал Пильняка случайным человеком в литературе.

И наконец, вопреки указанным напряжениям со стороны Пришвина, в некоторых случаях можно говорить о сходстве творческой манеры Пришвина и Пильняка, рассматривая поэтику и стилистику их произведений как проявление экспрессионизма и орнаментальной прозы в русской пореволюционной литературе. Особенности поэтики Пильняка посвящена недавно вышедшая из-под пера Л.Н. Анпиловой монография «Русская версия экспрессионизма: проза Бориса Пильняка 1920-х годов» [1]. К жанрово-стилистическим особенностям пришивинской «Мирской чаши», а отчасти и других его произведений, на наш взгляд, применимо определение пильняковского экспрессионизма, данное Анпиловой, которая пишет: «Воплощению трагических коллизий эпохи способствовала разработанная экспрессионизмом система поэтики, и в первую очередь — освоение новых жанровых форм. Важнейшими жанрообразующими элементами в прозе стали лейтмотивная структура повествования и симфонизм» [1. С. 215].

Еще одна общность двух писателей проявилась в характерном обостренном восприятии природы и мастерстве рисуемых образов. Воронский писал о Пильняке: «Пильняк очень чуток к природе. Он любит, знает ее. Умеет подмечать оттенки, характерные мелочи, не бросающиеся обычно в глаза. Для леса, неба, зимы и осени, метелей у него много слов и сравнений» [2. С. 235]. У Пильняка «жизнь России гармонично связана с природой, ею определяется», — замечает и Анпилова [1. С. 92].

Примечательно, что эти два очень ярких произведения, которые можно назвать примерами экспрессионистической манеры и орнаментального стиля — роман «Голый год» Пильняка и повесть «Мирская чаша» Пришвина — оказались предметом сравнения в дискуссии, в которую были вовлечены также видные фигуры литературной критики тех лет А.К. Воронский и Л.Д. Троицкий.

Девятого августа 1922 г. Пришвин записывает в дневнике по поводу «Голого года»:

Читаю Пильняка. Это не быт революции, а картинки, связанные литер. приемом, взятым напрокат из Андрея Белого. Автор не смеет стать лицом к лицу к факту революции и, описывая гадость, ссылается на великие революции¹ [13. С. 256].

Примечательно, что эта коротенькая запись уже содержит в себе кое-что для понимания дальнейшего последовательного неприятия Пильняка Пришвиным вопреки их приятельским отношениям. Во-первых, это ссылка на Андрея Белого, которого нередко и считают крупнейшим представителем русского экспрессионизма (см., например, работу Я.А. Шуловой [25. С. 121–127]). Во-вторых, обращает на себя внимание фраза «картинки, связанные литературным приемом». В данном случае Пришвин недоволен некоей бессюжетностью романа Пильняка, действительно попавшим в 1920-х гг. под критику, как явления своего рода «лоскутного одеяла». Однако парадокс в том, что и сама «Мирская чаша», а тем более такие произведения Пришвина, как «Лесная капель», представляют собою столь же сложное в жанрово-композиционном отношении явление, далекое от традиционного романного нарратива (более подробно анализ поэтики «Мирской чаши» был сделан в работе «Художественный текст Михаила Пришвина» [23]). Поэтому то, что не нравилось одним критикам, вполне устраивало эстетический вкус других. Новое время заставляло искать новые формы или по-новому разворачивать известные. Так и Пильняк, выступая в роли критика, в отзыве о

¹ Все сокращения слов в цитатах следуют тексту оригинала.

романе В.Я. Зазубрина «Два мира» писал: «Революция заставила разорвать в повести фабулу, заставила писать по принципу “смещения планов”» [11. С. 294].

И наконец, «гадость», которую Пришвин находит у Пильняка, нужно понимать как чрезмерный, по его мнению, натурализм (в котором, к слову сказать, обвиняли и упомянутого Зазубрина, и Андрея Платонова, и других взращенных революционной эпохой раскрепощения нравов), в частности, в половом вопросе. В дневниковой записи от 21 декабря того же года Пришвин делает суровый разбор повести Пильняка «Иван-да-Марья», останавливаясь на мыслях главной героини Ксении Ордыниной о том, что Карл Маркс, приняв в расчет голод физический,двигающий массы к революции, не принял во внимание «голод» полового влечения. В тексте Пильняка это звучит так:

Я иногда до боли, физически, реально, начинаю чувствовать, осязаю, как весь мир, вся культура, все человечество, все вещи, стулья, кресла, комоды, платья, — пронизаны полом, — нет, не точно, пронизаны — половыми органами, даже не род, нация, государство, человечество, а вот носовой платок, хлеб, ремень. Я не одна <...> и я чувствую, что вся революция — вся революция — пахнет половыми органами [9. С. 71].

Пространная запись в дневнике от 21 декабря 1922 г., сделанная даже с характерным заголовком — «В защиту Маркса» — целиком посвящена грустным размышлениям Пришвина о том, что эрос у современных молодых писателей лишен той сакральности, которая ощущалась у В.В. Розанова, у них-де он вызывает ассоциации лишь с «собачьей свадьбой». Вспоминая свою марксистскую юность, Пришвин замечает, что он и товарищи-рабочие, изучив «Капитал»,

все как бы молчаливо дали обет целомудрия, и если сходились с женщинами, то тут же и женились, топя эрос в чувстве семейности. И еще замечательно, что наша пропаганда среди рабочих «Капитала» кончилась разгромом рабочими в Риге всех публичных домов <...> Вот и Б. Пильняк <2 нрзб.> хочет сказать, как Розанов, но, как обезьяна, он говорит, и так только у Розанова <1 нрзб.> пол, все так благоухает ароматом цветов, а у Пильняка наше отечество и наша надежда (революция) «воняет половым органом» [13. С. 289].

Нам кажется, что у Пильняка все обстоит не столь примитивно. Пришвин словно не замечает того места в монологе героини, где она рассуждает ровным образом по-пришвински о предпочтении брака и целомудрия, но отмечая при этом, что ее личная судьба сложилась вопреки заветам семейной любви:

Женщина в девяносто девяти случаях из ста, отдаваясь впервые, несет душу и тело — всю душу и все тело отдает она другому, мужчине. Мужчина же до жены идет к женщине стыдясь, воруя, чувствуя, что творит мерзкое и грязное, несет этой женщине только тело и презрение, запрятав глубоко душу, и, уходя от нее, мучится воровством и моется. И только к жене он идет и с душой, и с телом, и, так чаще бывает, с жадной создать святое, целомудренное, искупить старое. И ему нестерпимо, если он узнает, что всю душу, всю святость женщина отдала уже другому, — не могла не отдать, сошедшись... Я не попала в число этих девяносто девяти [9. С. 73].

Более того, цитируя текст «Иван-да-Марья» для себя, Пришвин заменяет глагол «пахнет» из текста Пильняка, прочитывая его как «воняет», приписывая высказанные героиней мысли самому автору повести да еще видя в этом своего рода авторское кредо Пильняка, с чем едва ли можно согласиться. Совершенно очевидно, что долгожданное ощущение освобождения от ряда канонов и условностей, выработанных христианской культурой в России в области отношений мужчины и женщины, заставило в первые послереволюционные годы определенные массы советской молодежи муссировать проблему пола и выпустить наружу то, что было под запретом христианской морали и государственной идеологии. Другое дело, что во всяком натурализме, связанном с отображением физиологических процессов, должна соблюдаться некая мера, но границы ее авторы выстраивают не только в силу жизнеподобия, но и в силу особенностей собственной личности — отсюда и интерес к половому вопросу у ряда писателей, которым эта тема оказывается близка. На наш взгляд, методы творческого освоения действительности сильно разнятся у Розанова и Пильняка, причем именно в силу особенностей личности этих литераторов, поэтому для Розанова более важны умозрительные рассуждения о чем угодно, включая проблему пола, но он никогда в своих произведениях не способен был дать такие яркие экспрессионистические картины российской жизни, кото-

рые создавал Пильняк, которого Воронский назвал «физиологическим» писателем за яркую общность изображенного им мира людей и зверей.

При анализе многолетних дневниковых записей Пришвина 1920–30-х гг. напрашивается мысль о том, что одна из причин неприятия Пришвиным русской революции 1917 г. и ее последствий и состоит в том, что первые марксисты многое представляли по-иному, чем те, кто творил эту революцию на практике. И имя Пильняка в дневнике Пришвина постепенно становится, к сожалению, своего рода жупелом, внушающим Пришвину брезгливое чувство отвращения. Пильняк в этом отношении для Пришвина выступает как воплощение тех молодых, кто не увидел в марксизме возвышенного и свел все социальные преобразования к примитивному разгулу проявлений физической природы человека.

Подытоживая рассмотрение этого вопроса, заметим, что нам трудно согласиться с Пришвиным и в том, что Пильняк «не смеет стать лицом к лицу к факту революции». Описание революции в романе весьма полно и всеохватно, можно сказать, эпично. В образе города Ордынина нашли отражение типичные для всей России картины, показана ломка устоев, при этом ярко индивидуализированная стилистическая манера автора «Голого года» не мешает ему развернуть перед читателем вполне объективную картину происходящего, не славословя и не отвергая русскую революцию, а принимая ее как данность.

Представляет интерес одна из первых рецензий на роман «Голый год», содержащая рекомендацию к публикации и вышедшая из-под взыскательного пера И.М. Касаткина, который совмещал в то время службу в ЧК и литературную работу. Рецензент как раз отмечал широкую палитру образов революции:

Повествование ведется обширной гаммой новых и старых типов, местностей, положений <...> Умирующие представители дворянства, купечества, духовенства. <...> Хорошо даны типы «кожаных курток» — большевиков, через все запреты и трудности напролом прущих небывало нового. Проходят усадьбы-коммуны с пестрыми типами анархистов, помещичьих отпрысков и прочей разношерстностью исчезающего конокрадства, разбойных начал, знахарства и проч. Даны удивительно яркие картины паломничества мешочников в хлебные края, разъезды с заградительными отрядами и эти бесконечно простаивающие поезда-рыдваны с жуткой человеческой массой — за хлебом [3. Л. 2].

Если Пильняк и не видит «тупика», о котором говорит Пришвин, то это не значит, что революция воспета в романе в идеализированных тонах. «Образ революционной России в романе “Голый год” страшен», — отмечает и с позиций сегодняшнего дня Н.М. Малыгина [5. С. 191]

В августе – сентябре 1922 г. Пришвин и Пильняк встречаются и обсуждают возможности публикации своих произведений. 6 августа Пришвин пишет пространное письмо Пильняку (краткий черновик его хранится в РГАЛИ [21], полный текст опубликован в составе 18-томного «Дневника»), весьма ценное для понимания замысла «Мирской чаши», вызывающей до сих пор немало споров по поводу данного там образа революционной России. Возвращаясь к главному предмету разногласий, возникших при личной встрече двух писателей вокруг образа комиссара Персюка в пришвинской повести, Пришвин пытается доказать Пильняку, что брутально-фантастический образ живущего вполпьяна матроса-комиссара, олицетворяющего собою бурю революционных преобразований на селе, — является вполне «проходным» с точки зрения цензуры. Пильняк же, а вслед за ним Воронский, видят в этом образе карикатуру на представителей революционной власти. Добавим от себя, что авторский сарказм в повести простирается далеко за пределы образа комиссара Персюка.

В результате Пришвин пишет письмо Троцкому, который (неожиданно для Пильняка, охарактеризовавшего Пришвина Троцкого как некомпетентного в художественной области) отмечает эстетические достоинства повести, но считает ее контрреволюционной. Пришвин в диалоге с Пильняком пытается убедить в обратном, ссылаясь на имевшую место в предварительной редакции своей повести фразу «Персюк в своих пьяных руках удержал нашу Русь от распада». Однако сам же Пришвин признает, что фраза эта из текста исключена и на страницах повести остается Персюк, который (по словам сравнивающего двух героев Пришвина) в отличие от пильняковского Архипа Архипова «едва отличим от мерзости и противопоставляется идеальной личности, пытающейся идти по пути Христа и распятого...» [13. С. 265].

Положительный образ комиссара Архипова в романе «Голый год» Пришвин прочитывает как попытку Пильняка оправдать революцию, идеализируя ее деятелей. Отсюда им делается вывод, что это натяжка, что Россия находится в тупике, и более того, продолжает Пришвин:

не только Россия у меня в тупике, но и весь христианский мир у меня, выходит, в тупике ... И так оно есть: наш социализм, будучи отрицательной, разрушительной силой, врывается в христианское сознание современного человечества. Вероятно, мы находимся накануне второго пришествия, когда Он явится во всей славе и разрешит наше ужасное недоумение или же совсем не явится и будет сдан совершенно в архив. Человечество сейчас находится в тупике, и самый искренний (несахарный беллетрист) художник может изображать только тупик [Там же. С. 266].

Далее Пришвин обвиняет Пильняка в том, что тот не видит спасения России ни во Христе, ни через марксизм (поскольку Пильняк, дескать, не знает истинного марксизма) и, стало быть, рисует какие-то «сахарные» картины, не дающие читателю понимания того, какая реальная сила может спасти Россию. Пришвин считает, что долг честного писателя показать пореволюционную Россию как стоящую в тупике. Однако позиция Пришвина, выраженная в письме Пильняку, по большому счету, еще больше запутывает ситуацию: если Персюк в «пьяных руках» удержит Русь от распада (фраза убрана из текста повести, но приведена как аргумент в письме!) — это одно, если Персюк это Антихрист, противопоставленный Христу, — это совершенно другое. Или, может быть, у Пришвина Христос должен явиться впереди революционной толпы, как у Блока в «Двенадцати»? Или Персюк (еще одна аллюзия) — это «часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо»? Вопрос остается открытым.

Очевидно, что и сам Пришвин находится в тупике по поводу осознания перспектив революции, чего и не скрывает. В итоге «Голый год» будет опубликован в России и в Берлине (при содействии просоветской части русской эмиграции) в конце 1922 г., а «Мирская чаша» выйдет в свет в СССР в неполной редакции лишь в конце 1970-х, а в полной в 1990 г.

О контактах двух писателей в тот период свидетельствует и хранящееся в фондах РГАЛИ письмо В.Г. Лидина от 4 сентября 1922 г., в котором тот просит Пильняка: «Борис, будь добр, скажи Мих. Мих., как мне получить от тебя мои рукописи, если они у тебя с собой, оставь у Мих. Мих. Или скажи, где оставишь. Жму руку Вл. Лидин» [4. Л. 1]. Как видно, Пришвин и Пильняк тесно общаются в то время, если Лидин прибегает к помощи Пришвина как посредника для передачи рукописей. Пильняк в то время бывает в Москве наездами из Коломны, Лидин возвращается в Москву из Берлина, Пришвин живет в общежитии писателей на Тверском бульваре.

В дальнейшем дневник Пришвина демонстрирует нарастающее неприятие Пильняка как человека, «примазывающегося» к новой власти. Он не находит в Пильняке романтика, увлеченного идеей социализма, не доверяет его искренности как автора и употребляет слово «пильняковщина» в значении неискреннего писателя-попутчика, демонстрирующего лояльность новой власти ради возможности хорошо обустроить себя в новых условиях. Выслушав Пильняка на заседании Первого пленума Оргкомитета Союза советских писателей 4 ноября 1932 г., Пришвин записывает: «Через речь Пильняка понял о пустоте всех клянувшихся в верности партии <...> Одно дело партизан с орденом Красного знамени, другое дело Пильняк, устроивший свои отношения с властью в целях личного бытия как знаменитого советского писателя» [17. С. 229–230].

Однако и здесь можно возразить, что в итоге большинство советских писателей-попутчиков, включая самого Пришвина, обращаются с просьбами к представителям власти, — ради устройства своего и своих семей «личного бытия» и постепенно демонстрируют все большую лояльность к новой власти. Пришвин, написавший на исходе 1917 г. жестко обличительный очерк против В.И. Ленина [22. С. 106–108], позднее делает свой вклад в литературную «лениниану» рассказом «Ленин на охоте», который был дан им в «Переваловский» сборник и замечен Пильняком. В мае 1929 г. Пильняк обращается с письмом к Пришвину, предлагая подобрать какую-нибудь вещь для в намечаемого французским издательством «Carrefour» альманаха: «...мне же лично кажется очень подходящим для “Carrefour” Ваш рассказ об охотнике Ленине», — пишет он [8. Л. 1].

Важнейшим мотивом пришвинского творчества в советский период становится борьба за себя как свободную личность, способную устоять против искушения писать то, чего от тебя ждет официальная идеология. 11 ноября 1925 г. он записывает:

И как жутко иногда бывает подумать о какой-то литературной общественности в Москве, где сами себя коронуют Демьян Бедный, Влад. Маяковский, Борис Пильняк. Таланты? очень может быть, да провались они с талантами, и разве я тоже не талантлив? Если бы талант не давал бы мне возможности жить почти свободным человеком, наслаждаться уединением, питающим любовь к человеку, зверю, цветку и всему, разве я стал бы заниматься и носиться с этим писательством? [14. С. 361].

В то же время примечательно, что Пришвин в дневнике 1928 г. дает собственную систематизацию современной советской литературы в лице наиболее крупных авторов и помещает себя и Пильняка в одну группу. «К левому крылу литературы революционной интеллигенции, — пишет он, — мы отнесем Маяковского, Асеева, Третьякова, Пастернака, Сельвинского и конструктивистов, писателей “Перевала” (за исключением его крестьянских писателей <...>), Бабеля, Сейфуллину, Н. Тихонова. К правому — Е. Замятина, М. Булгакова, М. Зощенко, А. Белого. В левом центре оказываются Ю. Тынянов, Б. Пильняк, Л. Леонов, Константин Федин, М. Пришвин, М. Шагинян, Н. Огнев. В правом — А. Толстой, В. Вересаев, Вс. Иванов последнего периода, Глеб Алексеев, С. Сергеев-Ценский, Н. Никандров, О. Мандельштам» [15. С. 309]. Обращает на себя внимание то, что Пришвин, официально еще не заявив о выходе из «Перевала» (об этом скажем далее), «перевальцем» себя уже не считает.

Личные контакты двух писателей продолжаются. Из еще одной дневниковой записи Пришвина мы узнаем, что 13 января 1930 г. после заседания правления ФОСП Пришвин «встретил Пильняка и наконец-то отвел себе душу: совершенно серьезно и самыми поносными словами <...> изругал его и как человека и как писателя» [16. С. 10]. Дальнейший текст записи весьма красноречиво подтверждает модус отношений двух писателей, о котором уже говорилось.

В ответ на это [sic! — А. С.] он [Пильняк — А. С.] уговорил меня ехать к нему в гости пить ликер, мне было совестно отказаться. Был у него, ночевал, выслушал его исповедь: признался в дружбе с генералом от ГПУ, раскаялся в своем поведении и т.п. В конце концов у меня осталось, будто я был у публичной женщины и не для того, чтобы воспользоваться ей, а только выслушать ее покаяние... [Там же. С. 10].

Каждый остается верен себе: Пильняк дорожит отношениями с Пришвиным и готов принять критику старшего товарища, Пришвин раздражен против Пильняка, но при этом едет в гости выпить ликеру, поучить Пильняка и даже остается ночевать. Кстати, отметим гостеприимство Пильняка в тот непростой период: его дом на 2-й улице Ямского поля распахивал двери писателям не только для ночных бесед. Там нашли на какое-то время пристанище ставшие бездомными Борис Пастернак и Андрей Платонов: «Осенью 1928 года, — пишет Н.М. Малыгина, — Платонов с семьей жил у Пильняка на улице Ямского поля. Валентина Трошкина — сестра жены писателя — вспоминала мучительный период скитаний бездомного Платонова по Москве. Когда семья вернулась из Ленинграда, искали жилье. Тогда и помог Пильняк» [6. С. 60]. Позднее, когда Платонову пришлось отчитываться на вечере Всероссийского союза советских писателей 1 февраля 1932 г. по поводу совместной с работы с Пильняком над пьесой «Дураки на периферии» «он сказал, что пьеса стала результатом вынужденного и недолгого проживания в доме Пильняка» [5. С. 144].

В записи пришвинского дневника от 28 июля того же 1930 г. вновь находим высокую оценку изобразительного мастерства Пильняка-очеркиста (имена Пильняка и Лидина, правда, зачеркнуты, возможно, Пришвин размышляет о примерах):

Когда тот же самый <зачеркнуто: Лидин и Пильняк> изредка напечатает свои фельетоны в «Известиях», то это читаешь по-настоящему, не рассчитываясь, без неловкости, напротив, с восхищением и радостью, и чувствуешь Париж вместе <зачеркнуто: с Лидиным> и Японию <зачеркнуто: с Пильняком>, это все у них взаправду, а роман их — это талантливая дань прошлому в лице невзыскательных читателей-мещан всего мира, которые жаждут жизни... [16. С. 164].

Здесь необходимо уточнение: Пришвин в тот период продвигает мысль о необходимости молодым писателям работать в жанре очерка и переходить к романным формам только по мере обретения творческой зрелости. Впрочем, у Пильняка за спиной в то время уже 15 лет творческого стажа, и в попытке оградить его от больших художественных форм ощущается некоторая предвзятость Пришвина, тянущаяся с того самого 1922 г.

В июле 1932 г. Пришвин вновь посещает Пильняка для обсуждения издания нового журнала под редакцией последнего, воспринимая инициативу с журналом как попытку «заполнить пустое место, которое получилось из-за ухода РАППа» [17. С. 155].

После публикации повести «Женьшень» в начале 1934 г. Пришвин составляет список из 24 адресатов — личных друзей, литераторов, общественных и государственных (их представляют в списке Семашко и Ворошилов) деятелей, которым он будет дарить книгу. На 13-м месте в списке стоит фамилия Пильняка [Там же. С. 345].

Возникает вопрос: почему видимое неприятие позиции Пильняка в отношениях с советской властью и его творческой манеры не мешает Пришвину поддерживать отношения, которые носят, если не дружеский, но уж точно приятельский характер, причем Пришвин пытается воспитывать младшего коллегу, не отвергая его напрочь и принципиально? Можно отметить, что у Пришвина непросто складывались отношения с целым рядом писателей и критиков. В каких-то случаях Пришвин заставлял себя протянуть руку даже тому, кто доставлял ему неприятности как человеку и как писателю, но были и те, с кем он принципиально не имел дела. Так, вопреки усилиям некоторых исследователей связать личности Пришвина и Платонова в силу их общего интереса к одухотворенной природе, личных отношений между ними не получилось. Причиной серьезной обиды Пришвина на Платонова послужил, в частности, печатный отзыв последнего о книге Пришвина «Неодетая весна» (1940), где Платонов рассуждает о «правильном» и «неправильном» пути писателя в природе. В творчестве Пришвина он видит выражение пути эгоистического, пути человека, «не желающего преодолевать в ряду со всеми людьми несовершенства и бедствия современного человеческого общества» и ищущего «немедленного счастья, немедленной компенсации своей общественной ущербности» [26. С. 6]. В дневниковой записи Пришвина от 11 ноября 1941 г. находим непростые рассуждения по поводу евангельской заповеди «любите врагов своих». Он видит необходимость разделять врагов на «своих» как «своихских» (т.е. врагов себя как индивида, но не Божьего лика в себе), которых по-христиански можно прощать, и на врагов «личных», которые оскорбили в нем «лик Божий» — таких прощать нельзя.

Личный враг — это враг моей личности, которая в Боге. Выходит, что с личным врагом надо бороться, как с врагом Божиим <...> Но Платонов (Человеков), продавшись в сущности своей тоже свойскому врагу моему Левину, не питая ко мне по-свойски ничего дурного, является уже, несомненно, врагом моей личности, т.е. врагом Божиим. Однажды, поняв Левина как своего врага, я прямо подошел к нему и сказал: — Простите меня, голубчик <...> Но было бы с моей стороны преступлением нравственным, если бы я и к Платонову так подошел. Платонова я должен побить, как врага Божия [17. С. 675].

Возможно, ответ на вопрос о стабильности отношений с Пильняком нужно искать в сфере более важной для обоих писателей, чем разъединивший их половой вопрос, — в патриотическом характере мировоззрения и творчества обоих. Для Пришвина принципиальным является отношение к России-родине. Когда Россия оказывается перед выбором: верность русской национальной культурной традиции, или космополитизм, то Пришвин выбирает Сталина, а не Троцкого. И по существу оказывается в этом отношении в одной команде с Пильняком, несмотря на хорошие отношения, связывавшие до поры Пильняка и Троцкого. 23 августа 1922 г. в дневнике Пришвина появляется запись: «Троцкий сказал Пильняку: что для него Россия всегда была путь и что, если в Италии будет революция, то он поедет в Италию. Пильняк ответил, что ему ехать некуда. Для одного Россия — средство (путь), для другого — цель» [13. С. 260]. Страшный парадокс истории в том, что в 1938 г. Пильняк усилиями некоторых коллег-литераторов и представителей печально известного ежовского ведомства осужден будет, в частности, за инкриминированную ему мнимую приверженность троцкизму, где роль сыграла близость к А.К. Воронскому, на которого к тому времени прочно навесили ярлык троцкиста. Контакты с самим Троцким в 1920-х гг. были обусловлены не приверженностью идеям последнего, но заступничеством Троцкого за писателей-«попутчиков».

Примечательно, что Пришвин помнит об этом разговоре почти два десятилетия спустя и приводит упомянутый эпизод в беседе с писательницей Анной Караваевой. Воспроизведем его по сокращенной (опущено несущественное) дневниковой записи Пришвина от 21–22 марта 1941 г.:

Стали разговаривать о Полонском, между прочим, и о том, что он троцкист. — А что такое троцкист? — спросил я Караваиху. — Как что такое? <...> — А вот, — перебил я ее, — слышал я, что Сталин назвал Ивана Грозного троцкистом, вы не слышали? <...> — Иван Грозный, — сказал я ей, — однажды так выразился: «я не русский». До такого отвращения дошел, что отказался от русскости. Значит, ему уже стала родина недорога, ему стала везде родина, а ведь в этом и есть троцкизм. — Ну, что вы, историю нельзя освещать обратно. — Я и не освещаю, я говорю парадоксом. Если хотите, могу иначе: Троцкий однажды вызвал Пильняка и спросил его, почему он вертится возле мужиков: это 17-й век. — А вы, — спросил Пильняк, — тоже недалеко от 17-го века. — Недалеко, — ответил Троцкий, — только потому, что здесь революция, а вот сейчас в Италии начинается, будет там — я туда. — Вот видите, — сказал я, — ему все равно где, лишь бы там была революция, а мне не все равно, у меня есть родина, и, будь хоть какая она, я ее не брошу [18. С. 405].

Пильняк свое идеологическое кредо обнаруживает, в частности, в письме Д.А. Лутохину от 3 мая 1922 г.:

Я хочу в революции быть историком, я хочу быть безразличным зрителем и всех любить, я выкинул всяческую политику. Мне чужд коммунизм (большевизм — дело иное), потому что <нрзб.> кастрирует мою — национальную — Россию: но у меня была прабабка-староверка, и она мне показывала, она видела в углах чертенят, — и она, и коммунисты — верят — благословляю веру <...> И еще очень важное: мне было 19 лет, когда началась война, русскую культуру, ее тупички и лежанки я принял в быте войны и революции, этот быт — мой повседневный быт, много я не знаю, к нему я привык до машинальности [10. С. 166].

Получается, чужд коммунизм как мировая революция, но большевики российские — дело иное, в них есть зерно патриотизма.

Раздражающее же Пришвина некоторое усердие Пильняка в доказательстве своей лояльности к советской власти легко объяснимо тем, что как «непролетарский» писатель-попутчик тот не хочет разделить судьбу пассажиров «философского парохода», хотя любит бывать за границей. В то же время в неприемлемой для Пришвина позиции автора «Голого года» не прослеживается какой-то нарочито выраженной преданности большевистской идеологии и тем более заискивания перед новой властью. Тот же Касаткин в упомянутой рецензии, похвалив художественные достоинства романа, отметил как минус «неуловимую расплывчатость авторской идеологии» [3].

Дальнейший путь Пришвина, пережившего Пильняка почти на 16 лет, свидетельствует о нарастании в нем самом все более лояльного отношения к советской власти именно потому, что ее приход оказался закономерным историческим выбором России (особенно укрепила это мнение Великая Отечественная война). Но ведь и Пильняк так же пытался соответствовать этой новой неизбежной исторической действительности. И в то же время, располагая в настоящее время достаточным количеством документов, можно утверждать, что Пильняк до конца сохранял свое лицо, не пытаясь раболепски заискивать перед властью и жертвовать своим неповторимым писательским лицом ради соответствия канонам искусственно «конструируемой» литературы, которую так не любил Пришвин. 28 октября 1936 г. на заседании Президиума Правления ССП СССР был заслушан творческий отчет Пильняка, где писателя призывали «идти в ногу», потому что, по словам выступавшего с критикой Вс. Вишневского, «быть индивидуалом писателем, который творит какие-то вещи, теперь не выходит» [24. Л. 57]. Пильняк же, отвечая критикам, говорил о невозможности сломать его индивидуальность: «Я могу в литературе делать только то, что могу, остальное бесполезно. В тех обстоятельствах, в которых я нахожусь, у меня очень часто возникает ощущение ненужности моей работы» [Там же. Л. 140].

Таким образом, трагичность фигуры Пильняка видится, в частности, в том, что постоянно получая упрёки левацкой критики в отсутствии должной приверженности революционно-преобразующему духу советской литературы, он — ровным счетом наоборот — вызывает неприязнь Пришвина как писатель, зараженный «комханжеством» и теряющий свое оригинальное лицо из-за желания быть, как все «подкоммунивающие» писатели.

28 октября 1937 г. семья Пильняка отмечала день рождения сына на даче в писательском поселке Переделкино. Гостей было немного, над Пильняком, и не над ним одним в Переделкине, уже сгущались тучи. Как рассказывал позднее сын писателя Борис Борисович, поздно вечером на дачу явился знакомый Пильняку по работе в Японии «человек в белом» и сообщил

о срочном приглашении к «Николаю Ивановичу» (Ежову). Так был обставлен фактический арест Пильняка, для которого началась полугодовая тюремная эпопея, окончившаяся смертным приговором, немедленно приведенным в исполнение 21 апреля 1938 г.

А 24 октября 1945 г. Пришвин совершенно неожиданно принимал у себя дома в Лаврушинском переулке Василия Васильевича Ульриха, того самого армвоенюриста Ульриха, председателя Военной коллегии Верховного суда, который на пятнадцатиминутном (!) заседании вместе с двумя членами коллегии вынес смертный приговор Борису Пильняку. Незадолго до этого Пришвин через посредников обратился к Ульриху с ходатайством об освобождении попавшей в заключение детской писательницы Ольги Перовской, в результате чего 10 лет лагерей были заменены ей ссылкой. Вскоре после этого обращения Ульрих, вспомнив о Пришвине, изъявил желание посетить писателя, которого знал с детства, будучи сыном Василия Даниловича Ульриха, латвийского марксиста, вовлекшего в 1895 г. студента Пришвина в «школу пролетарских вождей» и выведенного в образе Данилыча на страницах автобиографического романа «Кашеева цепь». В романе мельком был упомянут и сын Данилыча — мальчик Вася. 25 октября 1945 г. Пришвин записывает в дневнике: «Ровно 50 лет назад, купаясь в море под Майоренгофом, я чуть-чуть не утонул. Студент рижского политехникума Горбачев Вас. Александр. выволок меня и притащил на дачу Вас. Дан. Ульриха. Так я, попав к вождю марксистского движения, сделался революционером и вскоре попал в тюрьму. Сегодня через 50 лет приедет ко мне сын Данилыча, Вася (Вас. Вас. 56 лет, председатель рев. трибунала)» [19. С. 664]. В ходе приема, который надлежит держать в тайне, Пришвин дарит Ульриху «Кашееву цепь» с автографом и вечером записывает в дневнике фрагменты разговора с гостем:

— Вам 62 года? — спросил меня «Вася». — 72. — Да что вы! Удивительно. Это, наверно, оттого, что вы в природе живете. — Да я вовсе и не живу, я только описываю так. — Так отчего же? — Оттого, что я делаю только то, что мне нравится, как вы делаете, что вам не нравится. Очень понравилось. Когда они ушли, то от них осталось что-то в нашем доме не наше, совсем чужое [Там же. С. 666].

Литература

1. Анпилова Л.Н. Русская версия экспрессионизма. Проза Бориса Пильняка 1920-х годов. СПб.: Нестор-История, 2019. 244 с.
2. Воронский А.К. Борис Пильняк // Воронский А.К. Искусство видеть мир. Портреты. Статьи. М.: Сов. писатель, 1987. С. 233–257.
3. Касаткин И.М. (1921) Рецензия на роман Б. Пильняка «Гольный год». РГАЛИ. Ф. 246. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 2.
4. Лидин В.Г. (1922) Письмо Б.А. Пильняку. РГАЛИ. Ф. 1125. Оп. 2. Ед. хр. 1781.
5. Малыгина Н.М. Андрей Платонов и литературная Москва: А.К. Воронский, А.М. Горький, Б.А. Пильняк, Б.Л. Пастернак, Артем Веселый, С.Ф. Буданцев, В.С. Гроссман. М.; СПб.: Нестор-История, 2018. 592 с.
6. Малыгина Н.М. «Питомцы» Бориса Пильняка // Москва и «Московский текст» в русской литературе. Москва в судьбе и творчестве русских писателей: сб. науч. ст. М.: МГПУ, 2013. С. 46–64.
7. Овчаренко А.Ю. Ровесники. Содружество писателей революции «Перевал» в историко-литературном процессе 1920–1930-х годов: монография. М.: Экон-Информ, 2018. 322 с.
8. Пильняк Б.А. (1929) Письмо Б.А. Пильняка М.М. Пришвину 8 мая 1929 г. РГАЛИ. Ф. 1125. Оп. 2. Ед. хр. 1294.
9. Пильняк Б.А. Иван да Марья. Берлин; Петербург; Москва, 1922. 88 с.
10. Пильняк Б.А. — Лутохину Д.А. // «Мне выпала горькая слава...». Письма 1915–1937. М.: Аграф, 2002. 400 с.

References

1. Anpilova L.N. Russkaia versiia ekspressionizma. Proza Borisa Pilnyaka 1920-kh godov. St. Petersburg: Nestor-Istoriia, 2019. 244 s.
2. Voronskii A.K. Boris Pilnyak // Voronsky A.K. Iskusstvo videt' mir. Portrety. Stat'i. Moscow: Sov. pisatel', 1987. S. 233–257.
3. Kasatkin I.M. (1921) Retseziia na roman B. Pilnyaka "Golyi god". RGALI. F. 246. Op. 1. Ed. khr. 4. L. 2.
4. Lidin V.G. (1922) Pis'mo B.A. Pilnyaku. RGALI. F. 1125. Op. 2. Ed. khr. 1781.
5. Malygina N.M. Andrei Platonov i literaturnaia Moskva: A.K. Voronsky, A.M. Gorky, B.A. Pilnyak, B.L. Pasternak, Artoym Vesoyly, S.F. Budantsev, V.S. Grossman. Moscow; St. Petersburg: Nestor-Istoriia, 2018. 592 s.
6. Malygina N.M. "Pitomttsy" Borisa Pilnyaka // Moskva i "Moskovskii tekst" v russkoi literature. Moskva v sud'be i tvorchestve russkikh pisatelei: sb. nauch. st. Moscow: MGPU, 2013. S. 46–64.
7. Ovcharenko A.Iu. Rovesniki. Sodruzhestvo pisatelei revoliutsii "Pereval" v istoriko-literaturnom protsesse 1920–1930-kh godov: monografiia. Moscow: Ekon-Infom, 2018. 322 s.
8. Pilnyak B.A. (1929) Pis'mo B.A. Pilnyaka M.M. Prishvinu 8 maia 1929 g. RGALI. F. 1125. Op. 2. Ed. khr. 1294.
9. Pilnyak B.A. Ivan da Mar'ia. Berlin; Petersburg; Moscow, 1922. 88 s.

11. Пильняк Б.А. О книге «Два мира» // Печать и революция. 1922. № 1. С. 294–295.
 12. Пильняк Б.А. Письма: в 2 т. Т. 1: 1906–1922 / сост., подг. текста, пред. и прим. К.В. Андроникашвили. М.: ИМЛИ РАН, 2010. 567 с.
 13. Пришвин М.М. Дневники. 1920–1922. Кн. 3 / подг. текста Л.А. Рязановой; коммент. Я.З. Гришиной, В.Ю. Гришина. М.: Моск. рабочий, 1995. 334 с.
 14. Пришвин М.М. Дневники. 1923–1925. Кн. 4 / подг. текста Л.А. Рязановой; коммент. Я.З. Гришиной, Н.Г. Полтавцевой. М.: Русская книга, 1999. 416 с.
 15. Пришвин М.М. Дневники. 1928–1929. Кн. 6 / подг. текста Л.А. Рязановой; коммент. Я.З. Гришиной и Л.А. Рязановой. М.: Русская книга, 2004. 544 с.
 16. Пришвин М.М. Дневники. 1930–1931. Кн. 7 / подг. текста Я.З. Гришиной, Л.А. Рязановой. СПб.: Росток, 2006. 704 с.
 17. Пришвин М.М. Дневники. 1932–1935. Кн. 8 / подг. текста и коммент. Я.З. Гришиной. СПб.: Росток, 2009. 1008 с.
 18. Пришвин М.М. Дневники. 1940–1941 / подг. текста Я.З. Гришиной, А.В. Киселевой, Л.А. Рязановой; статья, коммент. Я.З. Гришиной. М.: РОССПЭН, 2012. 880 с.
 19. Пришвин М.М. Дневники. 1944–1945 / подг. текста Я.З. Гришиной, А.В. Киселевой, Л.А. Рязановой; статья, коммент. Я.З. Гришиной. М.: Новый хронограф, 2013. 944 с.
 20. Пришвин М.М. Нижнее чутье // Творить будущий мир / сост. Л.А. Рязанова. М.: Молодая гвардия, 1989. С. 104–108.
 21. Пришвин М.М. Письмо Б.А. Пильняку. РГАЛИ. Ф. 1125. Оп. 2. Ед. хр. 762.
 22. Пришвин М.М. Убивец (Из дневника) // Пришвин М.М. Цвет и крест. СПб.: Росток, 2004. С. 106–108.
 23. Святославский А.В. Художественный текст Михаила Пришвина: лингвостилистический аспект. Монография. М.: МПГУ, 2019. 160 с.
 24. Стенограмма заседания Президиума Правления ССП СССР от 28 октября 1936 года. РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 75.
 25. Шулова Я.А. Истоки экспрессионистской колористики в романе «Москва» Андрея Белого // Вестник МГОУ. Серия: Русская филология. 2014. № 4. С. 121–127.
 26. Человеков Ф. «Неодетая весна» (О повести Пришвина) // Литературное обозрение. 1940. № 20. С. 3–6.

10. Pilnyak B.A. — Lutokhinu D.A. // “Mne vypala gor’kaia slava...”. Pis’ma 1915–1937. Moscow: Agraf, 2002. 400 s.
 11. Pilnyak B.A. O knige “Dva mira” // Pechat’ i revoliutsiia. 1922. No. 1. S. 294–295.
 12. Pilnyak B.A. Pis’ma: v 2 t. T. 1: 1906–1922 / sost., podg. teksta, pred. i prim. K.V. Andronikashvili. Moscow: IMLI RAN, 2010. 567 s.
 13. Prishvin M.M. Dnevnikii. 1920–1922. Kn. 3 / podg. teksta L.A. Riazanovoi; komment. Ia.Z. Grishinoi, V.Iu. Grishina. Moscow: Mosk. rabochii, 1995. 334 s.
 14. Prishvin M.M. Dnevnikii. 1923–1925. Kn. 4 / podg. teksta L.A. Riazanovoi; komment. Ia.Z. Grishinoi, N.G. Poltavtsevoi. Moscow: Russkaia kniga, 1999. 416 s.
 15. Prishvin M.M. Dnevnikii. 1928–1929. Kn. 6 / podg. teksta L.A. Riazanovoi; komment. Ia.Z. Grishinoi i L.A. Riazanovoi. Moscow: Russkaia kniga, 2004. 544 s.
 16. Prishvin M.M. Dnevnikii. 1930–1931. Kn. 7 / podg. teksta Ia.Z. Grishinoi, L.A. Riazanovoi. St. Petersburg: Rostok, 2006. 704 s.
 17. Prishvin M.M. Dnevnikii. 1932–1935. Kn. 8 / podg. teksta i komment. Ia.Z. Grishinoi. St. Petersburg: Rostok, 2009. 1008 s.
 18. Prishvin M.M. Dnevnikii. 1940–1941 / podg. teksta Ia.Z. Grishinoi, A.V. Kiselevoi, L.A. Riazanovoi; stat’ia, komment. Ia.Z. Grishinoi. Moscow: ROSSPEN, 2012. 880 s.
 19. Prishvin M.M. Dnevnikii. 1944–1945 / podg. teksta Ia.Z. Grishinoi, A.V. Kiselevoi, L.A. Riazanovoi; stat’ia, komment. Ia.Z. Grishinoi. Moscow: Novyi khronograf, 2013. 944 s.
 20. Prishvin M.M. Nizhnee chut’e // Tvorit’ budushchii mir / sost. L.A. Riazanova. Moscow: Molodaia gvardiia, 1989. S. 104–108.
 21. Prishvin M.M. Pis’mo B.A. Pilnyaku. RGALI. F. 1125. Op. 2. Ed. khr. 762.
 22. Prishvin M.M. Ubivets (Iz dnevnika) // Prishvin M.M. Tsvet i krest. St. Petersburg: Rostok, 2004. S. 106–108.
 23. Sviatoslavskii A.V. Khudozhestvennyi tekst Mikhaila Prishvina: Lingvostilisticheskii aspekt: monografiia. Moscow: MPGU, 2019. 160 s.
 24. Stenogramma zasedaniia Prezidiuma Pravleniia SSP SSSR ot 28 oktiabria 1936 goda. RGALI. F. 631. Op. 15. Ed. khr. 75.
 25. Shulova Ia.A. Istoki ekspressionistskoi koloristiki v romane “Moskva” Andreia Belogo // Vestnik MGOU. Serii: Russkaia filologiiia. 2014. No. 4. S. 121–127.
 26. Chelovekov F. “Neodetaia vesna” (O povesti Prishvina) // Literaturnoe obozrenie. 1940. No. 20. S. 3–6.



Святославский Алексей Владимирович,

доктор культурологии, доцент,
 профессор Института филологии
 Московского педагогического государственного университета

Svyatoslavsky Alexey V.,

Doctor of Culturology, Associate Professor,
 Professor of the Institute of Philology
 Moscow Pedagogical State University

ORCID iD 0000-0002-4909-8323
 e-mail: pokrov1988@gmail.com

